

I

*Где высятся ясные волшебные горы Скандинавии
и розы кругом,
Тенгелиё струит свои быстрые воды.*

Джеймс Томсон. «Четыре времени года»¹

¹ Отрывок из поэмы Джеймса Томсона «Четыре времени года», часть первая — «Зима», переведено на финский язык Матти Никкиля. — *Примеч. автора.*

Самуэль

День третий

Родился я трижды, но на этом все и кончится. В этих углах блуждает смерть.

Появился на свет девятнадцать лет четыре месяца семь дней и шестнадцать часов назад. Перелистал назад книгу жизни, было время.

Ворвался в этот мир среди ярких огней центральной больницы, с овальной головой, покрытой кровью и плацентой, хотя отец всегда говорил, что парни Сомернива рождаются в шахте. По его мнению, шахта — место мужчин нашего рода, мы принадлежим ей, и, вероятно, это действительно так, хотя я всегда сопротивлялся этому. Я не раскаиваюсь в непослушании, хотя сижу теперь, съездившись, в этой несчастной бревенчатой лачуге посреди огромного леса, ветер стучит в окно еловой веткой порой так сильно, что, кажется, можно обмочиться от страха. Надо в сумерках прокрасться и сломать ее.

Когда начались схватки моего второго рождения, атмосфера была напряженной, но в итоге все прошло хорошо. Едва я закрыл за собой дверь дома и направился к своей «Гойоте-Хайлак», роды уже начались. Был уверен, что в окне шевельнулась занавеска, и свет позднего лета отразился в седых волосах женщины. Родившая меня мать хотела видеть, как кто-то осмеливается делать по-своему, — подобное случалось у нас нечасто. Она смотрела, как сын уходит из дома, оставив позади все, для чего его растили.

Ждать, что отец подойдет к окну, было бессмысленно. Он раздраженно ерзал в своем кресле, держа ноги на скамеечке и шевеля пальцами в слишком просторных шерстяных носках. Делал вид, что ищет с помощью пульта дистанционного управления программу, напоминающую гонки формульного типа, хотя отборочные соревнования в Монце состоятся только в выходные. Результаты предыдущего Гранпри в Бельгии были столь огорчительны для финской команды, что старик горевал по этому поводу много дней, как о поражении в мировой войне.

Я выехал задним ходом на улицу Хеленантие, включил первую скорость и дал газу больше, чем требовалось машине. Она и на второй уже трогается за счет крутящего момента, но я решил перестраховаться. Чудо рождения нельзя запороть похвальбой.

Третий раз я родился здесь, на этих облюбованных мышами нарах, на столе, на лестнице хижины, на прибрежной скале. Было лето, жарко. Ждал этого годами, а когда случилось, то оказалось грандиознее, чем мог себе вообразить, но я не смутился ни на мгновение.

Между моим вторым рождением и этим мгновением прошло триста восемьдесят семь дней и семь часов. В этот период я действительно жил. Все предшествующее время можно назвать либо подготовкой к жизни, либо ее неосознанным восприятием — дело вкуса, но я бы поменял каждый год того времени на один час *северного*.

Не знаю, сколько дней или часов мне еще отпущено. Пытаюсь думать, что все будет хорошо, пыль уляжется, дела наладятся. Пестун постучится, стянет с головы намокшую от пота шапку, сядет на нары

и скажет *пошли*. Но потом тоска возвращается. Вспоминаю, что этот лес суров и привык брать свое.

В избушке раздается стук, от испуга перехватывает дыхание. Какой-то посторонний звук. Слышу приглушенный шорох и тонкий, отчетливый писк. Звук доносится из-под нар. Вздыхаю с облегчением. Лесные чудовища под кроватью не рождаются, хотя в детстве я был уверен в этом.

Мои уши стали теперь чувствительными. Вероятно, это связано с тишиной. Прошлой ночью я услышал крик с севера, застыл на нарах, вцепился руками в край шерстяного одеяла. Был уверен, что преследователи получили подсказку, что скоро захрустит кустарник во дворе, дверь распахнется и затем — только темнота.

Однако это был лебедь, белый лебедь-кликун, расправивший крылья в узком месте на озере. Вероятно, перед отлетом он хотел, чтобы его голос был услышан в этом краю еще раз. Моя женщина называла их *кликунами*, но я считаю, что это птицы Туонелы¹.

Они любят мертвую землю. Прилетают весной раньше других, потому что спешат увидеть убитую зимой землю раньше, чем лето пробудит ее к жизни. Затягивают отлет, поднимаются на крыло, только когда земля и вода замерзают, небо заполняется крупными снежными хлопьями, и умирающая земля одевается в белое. Говорят, они задерживаются здесь надолго, потому что очень любят эту землю, но они любят смерть.

¹ Туонела — название загробного мира в финно-угорской мифологии. — *Примеч. ред.*

Сентябрь 2008

МАТЬ ОТВАРИЛА КАРТОФЕЛЬ и приготовила соус из сви-
нины. На столе, как обычно, консервированная
свекла, соленые огурцы, ржаной хлеб и — вечный
вторник. Я чистил картошку, переживая и пытаюсь
упорядочить свою речь в голове. Отец положил себе
соуса, передал матери, она полила им мелко нарезан-
ную картошку и протянула черпак мне. Я заглянул
в котелок и выдал из себя слова.

— Я уволился. — Прозвучало так, словно это
случилось только сегодня. — Уеду на север, — до-
бавил я, и могло показаться, что отъезд произойдет
когда-нибудь в будущем. На самом деле я скрывал
эту новость уже несколько месяцев — с тех пор как
отец встретил меня на вокзале, с гордостью сказав,
что именно отсюда капрал Сомернива начнет мар-
шировать в гражданскую жизнь.

Хоть я и ненавидел армейские будни, предписа-
ния и ущербного курсанта-офицера нашей команды
так, что после нескольких месяцев готов был уйти,
дорога от станции домой сдавила меня больше, чем
вся военная служба. Этот непроходимый кустар-
ник по обочинам дороги, иссохшие луга, заурядные
дворы скучных людей, с обязательной лужайкой,
изрядно пострадавшей зимой, и автомобильным на-
весом, под которым обычно две машины: одна более
новая и дорогая, другая подешевле и поменьше. На
дешевой жена ездит по магазинам и в тренажерный
зал, когда хозяин на более дорогой уезжает в шахту
на работу в вечернюю смену.

Больше всего меня напрягал отец — все, что с ним связано. То, как он, встретив меня на вокзале, сел в автомобиль, закрыл дверь, решительно сказал *ну так*, как бы знаменуя начало разумного разговора, а затем молчал всю дорогу. Долгое молчание было нарушено только дома — словами без всякого содержания:

— Сын Кемплайнена перешел во вторую смену.

Что мне делать с этой информацией? Это не мое дело, я не вписываюсь в это окружение. Понял, что, если останусь, исчезну как личность. Решил накопить летом денег и уехать.

Теперь лето прошло.

Сидел, уставившись в тарелку на светло-коричневый соус, в котором плавали кусочки мяса, на глянцевою от жира картошку с кроваво-красными блестками толченой брусники, не поднимая глаз, предугадывал выражения лиц матери и отца. Они смотрели на меня непрерывно, с открытыми ртами, как у мертвых окуней. Мать теребила рукав рукой, отец приглаживал волосы, чего не наблюдалось уже давно. Он сказал *вот те на*, встал так резко, что ножка стула заскрежетала по деревянному полу, прошел в гостиную и умолк в своем кресле до конца вечера.

Мать продолжала есть. Я быстро взглянул на нее исподтишка. Ей удалось взять себя в руки и скрыть свои чувства, сохранив обычное выражение лица. Лицо было каменной маской, стеной, сквозь которую ничто не могло просочиться, кроме прожитых лет. Появились морщины, впереди маячила старость. Иногда я задаюсь вопросом, разрушится ли когда-нибудь с годами ее оболочка.

Мать никогда не высказывала своего мнения о делах, не позволила и этой новости поколебать свою

позицию. Это был ее способ брести по жизни. Бабушка — по характеру полная противоположность матери, иногда думалось, могут ли они быть родными, — всегда говорила, что ее клубни повредились уже в колыбели.

— Твоя мать — единственная в своем роде, но, к счастью, неплохая, — сказала бабушка, когда мы вместе мыли посуду после рождественского ужина. Мне было шесть лет. — Молчание лучше болтовни, поверь мне, — заверила она и, обтерев ладони о передник, взяла меня на руки. Громко рыча, она в тысячный раз спрашивала, знаю ли я, как медведь ходит по мху. Затем совала мою голову себе под мышку, запускала костлявые пальцы в мои волосы и начинала давить на кожу головы. — Вот так медведь ходит, — повторяла она, а я визжал. Бабушка тряслась от смеха, а я знал, что ей это нравится.

Отец матери, мой дед по материнской линии, которого я никогда не видел, был полностью искалечен войной. Он был не из тех людей, которые буянили и сквернословили в пьяном виде, о которых после смерти говорили, что он был хорошим человеком и отличным отцом, но пить совсем не умел. Дед Этви сходил с ума всякий раз, когда на него накатывало. Во время приступа он швырял мебель по дому, таскал бабушку за волосы по избе и отправлял детей за прутьями. Если ветка была слишком маленькая и хрупкая, посылал за новой и лишь потом порол.

После такого детства мать усвоила, что, когда не скрыться от ругани и не хватает сил для самозащиты, следует замкнуться. Так она стала камнем.

Для матери жизнь хороша, если не происходит ничего плохого или вообще ничего. Мать была слов-

но забытая в доме, иссохшая женка шахтера, золотом будней которой стали удачные находки на полках супермаркета. Я видел, как она там улыбалась сама себе. Возможно, это было то место, где она могла почувствовать себя на какое-то время человеком, представить, что она где-то в другом месте, в каком-то большом городе, где никто не знает ее судьбы, да и вообще не обращает на нее внимания. Или, может быть, она там втайне мечтала, что когда-нибудь сможет собрать сумки и уйти или же направит свою обывденную жизнь в совершенно новое русло: купит вместо пятикилограммового пакета картошки макароны и оливковое масло и заявит дома отцу, что хозяйка изменила культуру питания с принятой в Хярмя¹ на средиземноморскую. Я так надеялся, что она сделает нечто подобное, что почти ощущал это.

Вечером к двери комнаты подошла мать в ночной рубашке. Она была уже готова ко сну, почистила зубы и распустила густые, темные, слегка поседевшие волосы. Сквозь ткань просвечивали обвисшие груди и дряблый живот. Мать посмотрела, как я упаковываю сумку, и сказала, что, конечно, он постепенно смягчится. Отец.

— Просто он успел уже начать гордиться тем, что ты тоже станешь шахтером.

— Мама, я не могу. Я задохнусь там.

Мать спокойно посмотрела на меня, присела на край кровати и протянула руку к лежавшей на покрывале книге. Она взглянула на потертую обложку,

¹ Район Хярмя находится на западе Финляндии, в области Этеля-Похьянмаа (Южная Остроботния). — *Здесь и далее, если не указано иное, примеч. пер.*

где крупным планом красовалась большая собака с полуопущенными ушами. Это был роман «Лысый из Нома»¹.

— Ты и твой хаски. — Мать улыбнулась и положила книгу на покрывало. Она встала, легонько коснулась моего плеча и вышла. Я почувствовал в ее словах доброту и мягкость, а может быть, даже понимание.

Взял книгу в руки. Полистал затертые страницы, прочитал один случайный отрывок, затем другой:

Путь был неплохой... Лысый вел... через бездорожье тундры.

По тундре, где не остается и следа. Именно туда, подумал я и закрыл книгу. Забыл посмотреть на собаку на обложке. Вспомнил, когда книга впервые оказалась в моих руках, — тот скорбный день, который в конечном итоге стал одним из самых значительных в моей жизни. Я пошел в библиотеку сквозь бушующую вьюгу. Стряхнул в тамбуре шапку о свое тощее бедро, вытер мокрое лицо рукой и подошел к стойке — спросить, можно ли сейчас получить книжную новинку «Волкодав Рой», или она все еще на руках у читателей. Библиотекарша принесла книгу, а когда попросила читательский билет, я не смог его найти. Думал, что положил в карман, — конечно же, наверняка так и сделал, — но билета не было.

Посмотрел на книгу, взглянул на библиотекаршу, вывернул все карманы. Почувствовал, как пот выступает у меня на шее, а щеки пульсируют. Лицо изменило цвет. Мне было так стыдно и огорчительно, что я готов был убежать и проплакать весь этот несчаст-

¹ Роман Эстер Бердсолл Дарлинг «Лысый из Нома», цитата из которого выделена ниже курсивом.

ный день, как вдруг библиотекаряша шепнула мне *подожди*. После этого она исчезла за перегородкой.

И вернулась с книгой в руке.

— А читательский билет? — выпалил я. Но она пояснила, что для этой книги билет не требуется.

— Это вовсе не библиотечная книга. Она будет твоей. Кто-то случайно принес ее с библиотечными и за целый год так и не пришел за ней.

Я отправился домой и сразу начал знакомиться с книгой. Читал со словарем, под одеялом, ночами, когда мать уже велела спать. Читал с начала, с конца и с любого эпизода в середине. Она стала для меня сокровищем. Хранил ее в картонной обувной коробке вместе с другими ценностями. Там были китайские и советские деньги, пластмассовый значок соревнований по йо-йо в супермаркете, наклейки моих одноклассников Минтту и Ристо, которые они обменяли либо из жалости, либо в качестве молчаливой поддержки, чтобы мой лист с картинками не закончился слишком быстро. Книга стала для меня якорем, я привязался к ней.

Лысый был легендарной собакой, намного сильнее Роя и, по крайней мере, такой же сильный, как Бак, Белый Клык или Балто. Я возвращался к книге вновь и вновь, в хорошие дни и особенно когда было плохо. Путешествовал с Лысым и его спутниками по ледяной пустыне, и это помогало.

Забывал школу, ее длинные коридоры с рядами вешалок, белые кирпичные стены и выщербленные от пинков двери. Забывал шайку Никканена, то, как они изо дня в день издеваются над Лого из-за его больших ушей. Прозвище Лого он получил потому, что был тоненький, как спичка, с оттопыренными

ушами — немного напоминал логотип коммерческого банка «Осууспанкки»: два шарика и посередине вертикальная линия.

Я нырял в книгу — это была благодатная стихия для таких странствующих рыб, как я: всегда в пути — куда-нибудь, куда угодно, лишь бы подальше от этого паршивого провинциального городка.

Чем больше я углублялся в книгу, тем сильнее книга проникала в меня. Лысый возрастил во мне мечту, холил ее и лелеял, и, наконец, она стала такой огромной, что ее следовало воплотить в жизнь.

Арка ворот над дорогой была сооружена из прочного изогнутого сухостоя. Посередине раскачивалась металлическая табличка в форме ромба, напоминавшая салмиак¹: *Ферма хаски Оунаскоййра*. Табличка зазывала меня так, что я остановился. Эти три возвышенных слова обещали много, начало чего-то совершенно нового.

Я направил свой «Хайлакс» под табличку, набрал воздуха в легкие и громко поприветствовал в кабине новую жизнь. Я чувствовал странную легкость, словно кто-то зажег светлое сияние в моем мозгу. В то же время мне было стыдно, ибо и это рождение не обошлось без боли: отец сильно огорчился.

Извилистая дорога с гравийным покрытием спустилась к большой реке, плавное течение которой выстлала желтыми листьями прибрежные березы. Это был Оунас. На обрывистом берегу стоял коричневый бревенчатый дом с дворовыми постройками.

Уже в машине я услышал вой своры собак. Открыл дверь — и меня наполнил оглушительный лай. Мурашки пробежали по моему позвоночнику, как мыши зимними ночами по кровельным фермам дома на Хеленантие. Шум привел к тому, что на крыльце появились люди: стройная стильная женщина лет сорока, в глазах которой светилась улыбка, и загорелый невысокий, сухощавый мужчина с хипстерской бородкой, в синей рубашке лесоруба. Это были Матти и Санна, мои новые боссы.

¹ Салмиак, или салмиакки — традиционные финские конфеты с лакрицей. — *Примеч. ред.*

— Самуэль, а проще Саму, — представился я, а они, улыбаясь, выкрикнули несколько разрозненных фраз сквозь собачий лай и жестами позвали в дом.

Они предложили мне хлеб и выпечку, напоили кофе, спрашивали и рассказывали, как будто всегда знали меня. Говорили со мной так, словно я был безупречен и имел позади прекрасное прошлое. Как будто я *что-то значил*.

После кофе Матти решил представить мне будущий фронт работ на ферме. Мы прошли к вольерам питомника, там он останавливался около каждой собаки и объяснял. Собаки уже притихли, но я не слышал его слов, ибо мое внимание было поглощено увиденным.

Псы были исключительно красивые — или, по крайней мере, красивы своей физической силой, роскошны в движении. Один с рисунком на лбу, другой сильный, как конь, третий черный, как ноябрьская ночь. У того одно ухо стоит, другое висит, у одного голубые глаза, у другого карие, кто-то смотрит подозрительно, явно волчьим взглядом. Это была разношерстная команда, но все же как будто от одного дерева. Они были жилистые, сильные, длинноногие, поджарые и взрывные, двигались на своих цепях в клетках, как ртуть, сбжавшая из градусника. Казалось, что они парили в прыжках.

Матти отвел меня к месту моего проживания — в маленькую хижину на берегу, в торце которой было две двери: одна — в сауну и туалет, другая — в мою комнату. В комнате стол, стул, кровать и металлическая мойка с краном и раковиной. В углу стоял шкаф, на полу валялся грязный лоскутный

половик, на окнах болтались занавески с красными пятнами.

— Замечательно, — сказал я искренне. Здесь было все необходимое: несколько предметов мебели и священное уединение. Мы внесли мою сумку, и Матти ушел. Я сел на свою кровать и, улыбаясь, подумал, что отсюда все начинается, впереди совершенно новая жизнь.